
Лина Вей
Опасное путешествие

Лина Вей

Опасное путешествие

«Автор»
2026

Вей Л.

Опасное путешествие / Л. Вей — «Автор», 2026

Саша и Маша поженились — и отправились в свадебное путешествие: две недели на яхте «Прилив», море, звёзды, разговоры до рассвета. Но море быстро стирает простоту. Радио молчит, компас дрожит, GPS теряет сигнал — и на горизонте вырастает остров, которого нет ни на одной карте.В круглом горном озере Маша купается одна — и впервые за столетия Хозяин этой воды видит живое существо, которое его не боится. Исполин Мабуку забирает её к себе — в пещеру под самой вершиной. Он не умеет говорить и не умеет просить. Он даже не понимает, что чувствует. Он просто не хочет, чтобы она ушла.Маша бежит. Саша идёт за ней через весь остров — и увозит её на яхте. Но Мабуку не отпускает: он идёт за ними по морю, догоняет, кладёт огромную лапу на борт — и молча смотрит влюблёнными глазами. А потом уходит на дно.

© Вей Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Свадьба в Сочи 7
Глава 2. Выход в море 10
Глава 3. Шторм 13
Глава 4. Странность приборов 16
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Лина Вей
Опасное путешествие

Пролог

Обрывок судового журнала шхуны «Селена». 1934 год.

…двенадцатые сутки не видим солнца. Барометр падает, как будто кто-то сжал его в кулак. Капитан говорит: не шторм это, а что-то другое, — штормов он за тридцать лет повидал много. Говорит и сам на себя косится, будто проговорился.

Утром долго спорили с боцманом. Он уверял, что видел ночью на горе огонь — не костёр даже, а ровное, живое свечение, как будто гора дышит. Я ему не поверил. Меня с детства учили: моряк не верит глазам, пока не поверит приборам. Но приборы у нас теперь тоже молчат, и я начинаю думать, что глаза мои ещё честнее.

Хочу записать, как всё было, покуда память свежа, покуда рука не дрожит.

Мы шли из Мозамбика; груз — гвозди. В трюме звенели ящики о борта, как ложки в кастрюле. Смеркалось. Я стоял на баке, Петрович втягивал носом воздух и говорил:

— Пахнет грозой, Митька. Странной грозой. Громом не пахнет, а сыростью — как пещерой.

— Тебе везде пещеры мерещатся, — сказал я.

— А ты носом понюхай, — сказал он. — Пещерой пахнет. Вон с той стороны, где гора.

Гора открылась к закату — чёрная, до половины в тучах. И вот тут надо записать, потому что дальше я сам себе не верю.

Туча над её гребнем шла против ветра.

Шла — и стояла на месте. Шла — и не уходила. Капитан вышел на мостик, посмотрел и сказал тихо, не нам:

— Крути руль. Крути, пока живой.

Ветер поднялся не сразу. Сначала пришла тишина — и это было хуже любого ветра. Море стало гладкое, как олово, и в этом олове гора отражалась целиком, сверху донизу. Петрович зашептал:

— Смотри на отражение. Смотри на отражение, Митька.

Я смотрел. В отражении гора была точно такая же. Только тень на её гребне — в отражении шла нам навстречу.

Больше я в тот вечер на воду не глядел.

Рулевой Хамид, единственный, кто был в этих водах раньше, заперся на камбузе и не выходил. Через дверь кричал своему богу, а под конец выкрикнул нам — я записываю дословно, слова у него были странные, гортанные:

— Мабуку! Не смейте смотреть на гору! Не смейте звать по имени!

Кок Архипыч тогда рассмеялся:

— Чего звать-то, если имени не знает? Сами-то, сами!

Теперь я думаю: зря он смеялся. Зря и мы с ним смеялись.

Шторм настиг нас к полуночи — разом, без разгона, как будто до этого вся эта вода только притворялась морем. Волны шли выше мачт, и между ними не было воздуха — одна сплошная чёрная вода. «Селена» не шла — её швыряло, как щепку в бочке. Мы потеряли грот и фок-стеньгу. Рулевого Хамида волной сбило о штурвал, и он держался зубами — вот и весь человек, который боялся смотреть на гору.

К четырём утра капитан скомандовал уходить от берега, и тут…

Тут надо написать про тень. Потому что тень — это всё, что у нас осталось, и я не имею права умолчать.

Когда лунный свет — слепо-белый — падал на гребень горы, там, наверху, стояла тень. Тень величиной с парус. Только парусов таких не бывает: у тени были плечи, и она не качалась с волной, как качались мачты, а стояла неподвижно — поверх движения, поверх ветра, поверх всего, что я могу назвать.

Петрович посмотрел в трубу. Опустил её. Сказал:

— Это не зверь, Митька. Это кто-то смотрит.

— На нас?

— На шторм. Он смотрит на шторм, как хозяин смотрит на двор. Мы для него — щепки. Мы для него…

Хамид с камбуза стал бить в борт чем-то тяжёлым — железным прутом, что ли. Ритмично. Так, как бьют в барабан. И я слышал — клянусь этой бумагой! — что гора отвечает ему тем же. Гулкий удар — из-под земли, из-под воды. «Нгома» — так он выкрикивал это слово: нгома, нгома. Значит, «барабан»; больше я ничего не разобрал.

Петрович присел рядом со мной на палубе, мокрый, старый, и вдруг улыбнулся:

— Знаешь, что самое смешное? Оно нас не трогает. Оно может — а не трогает. Слушай, Митька: оно рассматривает нас.

К рассвету шторм стал отпускать — или нас отпустил. Я не знаю, что из этого страшнее.

Из команды не хватает двоих: юнгу Сашку унесло волной с бушприта, а кок Архипыч пропал с камбуза — дверь распахнута, котёл ещё кипит. Капитан велел записать: без вести. Но я видел, как капитан смотрел на берег. Он смотрел туда не как на берег, откуда мог бы приплыть спасённый, — он смотрел туда, как смотрят на дом, где живёт тот, кто пришёл за остальными.

Хамид больше не бьёт в барабан. Он сидит у мачты и гладит доски рукой — тихо, как гладят лошадь. Всё повторяет одно слово; я понял наконец: он не богу молится. Он извиняется.

Капитан велел записать координаты. Я записал. Компас при этом встал — не дрогнул, а встал: игла неподвижная, как прибитая. Я переписал координаты трижды, и все три раза они вышли разные, и все три раза — на одно и то же место, которого нет ни на одной карте из тех, что у нас в штурманской. Капитан сказал: координаты — за борт, и никому не рассказывать, чтобы…

…чтобы не полезли туда те, кто посчастливее нас. Боже упаси.

Петрович теперь стоит на носу и смотрит на гору, и я смотрю на неё тоже, потому что чувствую: она смотрит уже не на шторм. И если вдруг эта тетрадь когда-нибудь попадёт в чужие руки — тому, кто будет читать эти строки в сухой уютной каюте или за столом под лампой, — знай, читатель: зверь с горы не то чтобы опасен — он одинок, как мы, и он…

[Запись обрывается. Дальнейшая судьба шхуны «Селена» и её команды неизвестна. В судовых реестрах порта Аделаида шхуна числится пропавшей без вести в том же году — через одиннадцать дней после последней записи.]

Глава 1. Свадьба в Сочи

Свадьба догорала, как костёр под утро: ещё держала жар, но огонь уже был мягкий, ленивый, доверчивый. На пирсе в порту Имеретинской бухты стояли столы — косо, вразнобой, как их и ставили: «да ладно, море, где надо, там и встанет». Гирлянды качались на ветру, и по тёмной воде бегали оранжевые полоски света — море в огнях, как в открытке, только живое.

Маша сидела на краю пирса, свесив ноги, и держала бокал в одной руке, а в другой — карандаш. Скетчбук лежал у неё на коленях раскрытым: на странице углём уже угадывались причал, шезлонг, кто-то танцующий. Она рисовала свадьбу, пока свадьба ещё не кончилась. Всегда так: пока событие живо — его можно удержать на бумаге. Отпустишь — и останется только память, а память врёт.

— Опять рисуешь? — У неё над головой возник Саша. Бокал он держал полным — уже который час полным, потому что пил медленно и больше смотрел на людей, чем на вино. — Сеня позу отрабатывает, ты хоть раз на него посмотри.

— Я на него и смотрю, — сказала Маша, не поднимая головы. — Стой, не мешай.

— Я не мешаю, я фон.

— Ты не фон, ты — муж, — сказала она и сама испугалась этого слова. Оно выскочило впервые. Новое, ещё горячее, как только что из печи. — Ты… муж, — повторила она тише, пробуя на вкус.

Саша сел рядом. Сел осторожно, по-морскому — пирс качало.

— Всё слово и слово, а до сегодняшнего дня я его знать не знал, — сказал он. — А теперь оно у меня уже крутится в голове, как припев, который невозможно выкинуть.

— Припев — это хорошо. Припев не надо учить.

— Всё, не учи меня жить, я теперь муж, у меня голова занята.

Она засмеялась и толкнула его плечом. Саша покачнулся — специально, преувеличенно, чуть не свалился в воду. Гости на ближнем столе заахали, кто-то крикнул: «Снимай, снимай, там жених топится!» — и танцующий Сеня на этом фоне упал сам. Просто упал. На ровном месте, в шлёпанцах. Это было его главное представление за вечер, и Маша успела его зарисовать: шлёпанцы в воздухе — гениальная деталь, она потом не раз гордилась этим штрихом.

Рядом вырос Костя. Костя был Сашин друг с юности — с тех времён, когда они оба носились на «Прогрессе» по кунгурским оврагам и там Саша впервые столкнул его с велосипеда. С тех пор Костя считал, что дружба — это когда столкнул, а потом поднял. Теперь он был в мятой белой рубашке, с галстуком, повязанным на лоб вместо резинки для волос, и держал микрофон караоке-системы, которую никто не просил.

— Итак! — загудел он в микрофон. — Внимание, внимание! Я хочу сказать одну вещь!

— Костя, — сказала Маша. — Только не песню.

— Я не собираюсь петь. Я собираюсь говорить пророчество.

— Пророчество? — спросил Саша.

— Пророчество, — с нажимом повторил Костя и пошатнулся не от вина, а от важности момента. — Вы думаете, я вам просто яхту на две недели подарил? Две недели — это я так, из скромности. По правде, я подарил вам судьбу. — Он поднял палец. — Доплывёте до Африки — вернётесь другими людьми.

Все засмеялись. Гости смеялись легко: до Африки из Сочи через пролив — надо же, Костя. А шутка была с двойным дном: эти слова он репетировал два дня, стоя перед зеркалом, как актёр перед премьерой. Костя ждал, пока смех схлынет, и повторил уже тихо, без микрофона, глядя Саше в глаза:

— Доплывёте до Африки — вернётесь другими людьми. Это не шутка. Это я тебе как капитан говорю.

— Ты не капитан, ты на моей машине сдал на права с четвёртого раза.

— А море? Море меня приняло. Море всегда принимает тех, кто его не боится.

— А меня? — спросила Маша. — Меня море примет?

— Море примет всех, — сказал Костя с неожиданной серьёзностью, от которой у Маши на секунду похолодело внутри. — Море вообще всё принимает. Вопрос только в том, что оно с этим делает дальше.

Он ушёл за новыми бокалами — подхваченный по дороге Сеней, у которого был свой взгляд на то, как надо открывать шампанское, когда девушка стоит на краю пирса.

Саша и Маша остались сидеть.

Море дышало. Прилив поднимался — медленно, нехотя: вода лизала бетонный край пирса, отпихивала пустую пластиковую чашку, подхватывала, крутила, оттаскивала от берега. Маша смотрела на чашку и думала, что море работает так же, как она над рисунком: тысячу раз отступит и придёт заново, отступит и придёт, пока не получится.

— Слушай, — сказал Саша. — А точно две недели на яхте? Может, лучше на Мальдивы? Всё включено, пляж, бар у самого берега — и меня ни от чего не придётся спасать…

— Саша.

— Всё, всё, — поднял он ладони. — Понял. Мальдивы снимаю.

— Я не против Мальдив, — сказала Маша. — Я против «всё включено».

— А чего ты тогда хочешь?

— Чего ты хочешь. Только честно.

— Честно? — Саша замолчал и посмотрел на море. — Даже сам не знаю. Хочу уйти от берега так далеко, чтобы берега не было видно. Чтобы вокруг было только небо и вода. Как в детстве, когда я на надувном матрасе отплыл от папы так далеко, что тот меня еле видел. Знаешь, что самое жуткое и самое вкусное в этом было?

— Что?

— Что меня несло. Несло, и я не знал, куда. И это было здорово.

Маша помолчала. Потом сказала тихо:

— Меня тоже несёт.

— С Мальдивами ещё обсудим, — сказал Саша и потянулся за бутылкой.

За «столовой» — то есть за стопкой сдвинутых ящиков из-под апельсинов — сидела старшая сестра Саши, Оля, и плела Маше косу. Плела, потому что не удержалась: «какая же ты у нас всё-таки маленькая, ну какая же ты у нас всё-таки взрослая». Плела медленно, чтобы подольше не отпускать.

— А что ты будешь делать на яхте две недели? — спрашивала она.

— Рисовать.

— Рисовать! Две недели! — Оля ахнула так, что коса запуталась. — А не страшно тебе? Море? Большое?

— В море страшнее всего одно: что оно когда-нибудь кончится, — сказала Маша.

Оля запнулась.

— Так не бывает, чтобы не страшно, — сказала она Маше уже в спину, когда та ушла к столам за апельсинами. — Все боятся. Просто притворяются, что не боятся. Особенно он. Особенно твой.

Она имела в виду Сашу. Саша в это время хвастался швартовкой.

К полуночи столы опустели. Люди лежали в шезлонгах кто где, из колонки на последних батарейках уползала «Land of Confusion» — Фил Коллинз сорокалетней давности, от которого у всех уже был свой, персональный ностальгический возраст, и от которого сейчас расплавленный пластик сворачивался в фразу: «и что мы тут будем делать дальше».

Саша и Маша стояли в конце пирса.

— Смотри, — сказала Маша и показала на воду. — Прилив. Море пришло.

— Приходит и уходит, — согласился Саша. — Так у него всегда.

— А что, если оно в один прекрасный день не уйдёт? Просто придёт — и останется? Навсегда?

Саша посмотрел на неё. Маша смотрела на море так, как смотрят люди, которые что-то знают о будущем. Не предчувствие — рисунок, эскиз будущего: углём, наброском, к которому потом можно подступаться красками. Так она смотрела на заказчиков, когда понимала, что человек просит не того, что ему нужно.

— Тогда, — сказал Саша после паузы, — мы просто станем морем. По кускам. Я — это волна, ты — это…

— Я — это барабан, — сказала Маша. — Тихо-тихо.

Саша усмехнулся. Потом перестал усмехаться. Вдалеке, на другом берегу, там, где горы уходили за линию горизонта, вдруг блеснула и погасла молния. Одна. Беззвучная, как вспышка фотоаппарата в глухом лесу.

Маша посмотрела туда.

— Первый, — сказала она.

— Что первый?

— Первый гром года, — сказала Маша и улыбнулась. — Море услышало нас. Теперь за нами придёт.

Она не знала, что сбудутся не эти слова, а другие — те, что сказал Костя. Но море услышало и то и другое. Море всегда принимает тех, кто его не боится.

Утром они поднимут парус.

А через две недели — через шторм, за проливом, у побережья, которого не найдёшь ни на одной карте, — им придётся вспомнить всё: этот пирс, эту молнию, качающиеся гирлянды, шлёпанцы в воздухе и Костю в галстуке на лбу.

Особенно Костю.

Особенно его последние слова перед отплытием, когда он, уже трезвый и уже серьёзный, взял Сашу за грудки и, понизив голос так, что слышала только Маша, добавил то, чего не сказал при всех:

— И ещё, Сань. Если в какой-то момент море станет слишком тёплым — прыгай на берег. И не оглядывайся на воду.

Саша засмеялся тогда. В последний раз за два месяца — от души, беззаботно, как смеются только те, кто не знает, что происходит дальше.

Глава 2. Выход в море

Утром, когда причал ещё спал, а чайки только начинали свой рабочий день, Саша поднял парус и понял, что руки его помнят всё.

Это странное чувство: десять лет не брался — а тело помнит, куда потянуть фал, что натянуть и когда отдать. Отец научил его когда-то на «Прогрессе», в кунгурском заплеске: «Парус любит, чтобы его просили, а не заставляли». Саша тогда был девятилетним и рассердился: просить? Он что, живой? Теперь, в тридцать два, отпустив гика-шкот и услышав, как «Прилив» лёг на курс и выдохнул, он понял: живой. Все они живые — море, парус, эта четырнадцатиметровая белая яхта, идущая в лёгкий ветерок.

— Курс? — крикнул он вниз.

Маша сидела на корме, поджав ноги по-турецки; на коленях у неё уже лежал раскрытый скетчбук. Берег уже ушёл за корму — Гагры, Пицунда; сегодня они шли в открытое море.

— Свободный, — ответила Маша. — Полный свободный.

— Это не ответ. Ты произносишь слово без знания.

— А это и есть свобода, — сказала она, не поднимая головы. — Слово без знания. Не бойся, твой капитан всё тебе объяснит.

— Кто капитан?

— Ты. Я — штурман. Художница-штурман. Не смейся: у Питера Грэма такого не было, а у меня есть.

Саша засмеялся — и этого хватило на всю вахту.

Первые дни были как обещание. Как та самая афиша, которую ты видел в детстве и в которую не верил, а она всё-таки оказалась правдой.

Дельфины пришли во второй день, на рассвете.

Маша разбудила его не голосом — плечом. Просто легонько толкнула и молчала, пока он не приоткрыл глаза. В каюте было серо; вода по бортам шумела по-разному: то о ноги, то о киль. Он вылез на палубу в трусах, зевая, ещё полусонный.

И забыл дожевать зевок.

Прямо под бортом шли дельфины. Шесть, восемь, десять. Тёмные спины, белые животы, острые носы; на каждой чёрной спине — светлая царапина, как будто у каждого была своя биография. Они играли с форштевнем: вкладывались носом в носовую волну, разгонялись, выскакивали на мгновение — серо-белые кометы, — и в мягком рассветном свете вода расцветала розовым.

Одна плыла прямо под ним. Один глаз глядел вверх — чёрный, круглый, огромный, как бусина. Саша не выдержал:

— Привет.

Дельфин фыркнул — или это был обычный выдох, воздух из дыхала. Только никто не мог доказать, что он не отвечал.

— Они нас провожают, — сказала Маша.

— Или проверяют, — сказал Саша. — Ты не думала, каково это — когда под тобой проплывает такая махина? Три центнера мяса. Это как мотоцикл — только он у тебя под ногами летает.

Маша смотрела вниз, на гладкую спину, ныряющую из-под борта, и не отвечала. Вода была такая, что рисовать расхотелось: скетчбук так и остался на коленях раскрытым.

К четвёртому дню у них уже был свой ритм — то, что капитаны называют «жизнью судна», а Саша называл «да-да-да».

Утро — Саша и чай. Маша — кофе из того термоса, что она упросила Олю подарить: бодрый, пахнущий жжёным сахаром. Полдень — язык, курс, узлы. Вечер — палуба, гитара

(гитара была Сенина: «Пусть себе плывёт, я ей на свадьбе всё равно не играл») и то, что Маша называла «сбором слов»: она записывала в блокнотик всё, что они говорили. Потом, в тишине, читала ему вслух — и они оба смеялись до слёз над глупостями, которые уже через сутки казались находкой гения.

— «Саша, а если бы у тебя был третий глаз, ты бы его выбрал — на носу или на затылке?»

— «На носу. На затылке — кто-то там постоянно глазеет из-за спины».

— Стоп, — сказала Маша. — Кто-то. Кто это «кто-то»? Ты сам это сказал.

— Не помню.

— А вот помнишь. Ты сказал: «Кто-то глазеет из-за спины» — и потом два дня не спал.

— Это была романтика, — сказал Саша. — Романтика не подлежит протоколированию.

— Всё подлежит протоколированию, — сказала Маша и облизнула карандаш.

На пятый день они увидели остров — маленький, рыжий, тёплый, как булка с изюмом на синей скатерти.

Его не было на картах. То есть был, но как скала: «скала без названия». Маша потребовала подойти к нему — «У скал без названия самый честный вид», — и они подошли. Высадились на динги: Саша в трусах, Маша в сарафане, кроссовки в руке.

На скале не было ничего. Даже травы — только жёлтые лишайники, злые чайки и ветер. Маша обошла скалу по кругу, набрала три камня — один имел форму ножа, второй — форму рыбы, а третий — вообще форму ничего, просто круглый и тёплый; его она несла дольше всех, — и села на камень, свесив ноги над синевой.

— Знаешь, что я тут поняла?

— Что?

— Что я тебя не люблю.

— Спасибо, — сказал Саша. — Ровно через пять дней после свадьбы.

— Я тебя не люблю, — повторила она серьёзно, — не так, как любят человека. Я в тебя влюблена, как в море. Ты огромный и не влезаешь в мою голову. И это самая правильная форма любви, потому что всё остальное — это уже не любовь, а впечатление.

Саша сел рядом. Обнял её за плечи — кожа на них была тёплая: вся неделя на солнце. Снизу, из синевы, вынырнула рыба и шлёпнулась обратно. Обычная морская жизнь — только для двоих в этот момент это была не жизнь, а репетиция: всё будет, говорили они друг другу молчанием, будет ещё, много.

— Тогда я, — сказал Саша, — тоже тебя не люблю. Я на тебя надеюсь. Это сильнее.

— Это глупее.

— Зато быстрее, — сказал Саша и свалил их обоих в море — с тёплого камня, в синеву, где вода была как сахар, расколотый и замешанный на соли.

Ночи были звёздные. Это не литература — это физика.

На море, вдали от берега, от города, от любых ламп, небо стояло такой плотности, что звёзды можно было трогать руками. Саша лежал на палубе, в подголовнике из спасательного жилета, и слушал, как под ним — где-то там, под доской — шевелится море. А Маша лежала рядом и молчала.

— Маша.

— Ага.

— А если я утону?

— Вытащу.

— Как?

— Зубами за рубашку.

— У меня рубашек три.

— Значит, хватит на три раза.

Смеялись они всё чаще — той усталой, тёплой семейной близостью, которую вырабатываешь за неделю на маленьком судне: знанием друг о друге, знанием о дребезжащей полупьяной гитаре, о Сениных песнях, которые Саша помнил, а Маша нет и которые он поэтому пел ей по вечерам в обязательном порядке.

Однажды ночью она вдруг села.

— Сань. Слушай. А это вообще не страшно?

— Что — не страшно?

— Всё. Вся вот эта вода. Дно у нас где-то там, на двух тысячах метров. Там никто не был. Никогда. Там вообще темно, как в закрытой книге. А мы поверх неё плывём, как муравьи по листу. И нам весело.

— Значит, — сказал Саша, — оно и для нас — закрытая книга. Приятно же, когда есть закрытые книги. Хоть что-то не прочитано.

Маша посмотрела на него. На звёзды, которые в чёрной воде отражались вверх ногами. На границу — туда, где вода лежала на стыке неба, — и вспомнила, что в детстве была уверена: море кончается там, где начинается небо. Что там, на краю, они срастаются и там всё другое. И вот теперь она лежала на палубе четырнадцатиметровой белой яхты и знала: так и есть. Они срослись. Только шов — это горизонт.

— Спи, — сказала она. — Завтра шторм.

— Откуда ты знаешь?

— А вот знаешь. Художница всё знает.

Она не знала. Просто почувствовала.

Утром заря встала малиновая, а к одиннадцати на востоке чернело — так, что не спутаешь с тучами: это была та чернота, которая сначала становится малиновой, а потом становится ветром. Саша стоял у штурвала, смотрел на восток и молчал.

Маша подошла, встала рядом, взяла его за руку.

— Так и знала, — сказала она почти весело. — Закрытая книга. Хоть что-то не прочитано.

Глава 3. Шторм

Маша не ошиблась.

Шторм пришёл на рассвете — но не сразу. Сначала пришла его визитная карточка: запах. Саша вылез из каюты с термосом Оли в руке, сделал глоток — и застыл. Чай пах чаем, а воздух — нет. Воздух пах мокрым железом и чем-то ещё, глубже: так пахнет в подвале перед тем, как спустишься.

— Сань, — позвала Маша из-под палубы. — А компас у тебя всегда так дрожит?

— Как дрожит?

— Вот так. — Она вышла на палубу и показала рукой. Игла не стояла, как стояла всю дорогу, — она дрожала, мелко, как пташка в клетке. — Вчера стояла как вкопанная. А сегодня трясётся.

— Магнитная буря, наверное. На солнце пятна какие-нибудь.

— На солнце пятна, — согласилась Маша. — А только солнце у нас сегодня не поднимается. Ты заметил? Оно встаёт как будто против воли.

И это было правдой: восток горел не золотом, а мутно-багровым, цветом засвеченной фотоплёнки. Саша посмотрел на багровую полосу, на дрожащую иглу, на низкое багрово-чёрное небо, которое шло на них с востока сплошной стеной, без единого разрыва.

Он сделал то, что делают капитаны, когда небо выглядит так: никуда не пошёл.

— Разворачиваемся? — спросила Маша.

— Куда разворачиваться? Небо чёрное во все стороны. Я тебе сейчас скажу вещь, которую ещё ни разу тебе не говорил за пять дней: мы никуда не успеваем.

— Куда не успеваем?

— Уходить от этой стены. Она быстрее нас. Она всегда быстрее нас, потому что ей не надо грести. — Он проверил шкоты, оглядел такелаж, крикнул вниз: — Маша! Всё, что не прибито, — в шкаф и под матрас! Всё, что может улететь, — привяжи! Себя — в спасжилет! Сейчас!

— А ты?

— А я штурвал не привяжу. Странно будет смотреться: яхта посреди Чёрного моря, а к штурвалу привязан капитан.

— Это не странно. Это правильно, — сказала Маша, и у неё впервые за пять дней дрогнул голос. Совсем чуть-чуть. Она увидела, что он это заметил, и добавила быстро: — Я не боюсь. Я рисовать буду.

— Отлично, — сказал Саша. — Рисуй. Только рисуй в шкафу.

Стена пришла через сорок минут.

Между небом и морем исчезло расстояние. Больше не было «далеко»: горизонт перестал существовать, потому что там, где он был, стояла вода — вертикально. Саша успел ещё увидеть, как первая волна поднимается слева, огромная, тёмная, с белой обломанной головой, — и потом мир просто перевернулся.

«Прилив» взяло, подняло и понесло.

Дальше время потеряло масштаб. Существовали только команды — короткие, разбитые ветром, — и руки. Руки Машиного страха, который она сдерживала, вцепившись в поручень. Руки самого Саши, белые на штурвале. И море — оно теперь было не вокруг, а над, и в него надо было нырять волной за волной, как ныряют в холодную реку, только река не кончалась.

— Рация! — крикнул Саша. — Проверь рацию!

Маша, вцепившись в поручень одной рукой, добралась до рации. Нажала передачу. Молчание. Нажала ещё. Молчание. Молчание — как выключенный свет: ты понимаешь, что он погас, только когда сквозь темноту не видно двери.

— Молчит! — крикнула она.

— Совсем? — спросил Саша.

— Совсем молчит, — сказала она. — Я включаю — и тишина. Как будто все другие люди на свете выключились, пока шторм идёт.

— Все другие люди сейчас в таком же положении, — сказал Саша. — Или молчат, или кричат. На рацию теперь не надежда: мы сами себе спасатели.

Волна ударила в борт — не так, как бьют волны, а так, как бьют кувалдой в дверь: глухо, со злобой на дверь за то, что дверь есть. «Прилив» качнуло так, что штурвал вырвало из рук Саши, и он полетел к леерам — перехватился за леер на лету, но нога ударилась обо что-то мягкое, и он понял: это бидон с водой. Тот самый бидон, к которому он вчера привязал верёвку. Верёвка спасла бидон, бидон спас его, и вся эта система работала потому, что он вчера был скучным и привязывал. Потому что «порядок на палубе — это не эстетика, Сань, это жизнь» — голос его отца, который говорил это на «Прогрессе» и умер, не увидев, как эта фраза однажды спасёт жизнь сыну.

Шторм шёл всю ночь.

Это была не буря из кино — из кино бури смотрятся. Настоящая буря не смотрится: от неё не оторваться, чтобы посмотреть, потому что смотреть надо в три глаза сразу, а у тебя один, и он занят: ищет гребень, считает гребень, встречает гребень.

Маша держалась в кокпите, вцепившись в поручень, в спасжилете, в дождевике, из которого вода лилась как из-под крана. Её трижды рвало — она не стеснялась этого, потому что было не до стеснения. На четвёртый час рвать перестало, и это было даже хуже: значит, внутри уже было пусто, и можно было чувствовать весь страх целиком, без помех.

— Сань, — сказала она сквозь ветер, — а мы не утонем?

— Мы не утонем.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что утонуть — это когда судно перестаёт слушаться. А оно слушается. Оно орёт, но слушается. Если перестанет — я скажу. Первым.

— Обещаешь?

— Обещаю. Я капитан, я обещаю всё.

— Так не капитаны обещают, — сказала Маша и впервые за ночь засмеялась. Смех был похож на истерику, но это не была истерика, потому что после него ей стало легче.

Под утро, когда небо уже начало сереть, а шторм — выдыхаться, случилось то, о чём Саша потом вспомнит не раз. Случилась волна. Не та, что остальные, — та, что выше. Она пришла слева, тёмная, гладкая, огромная, как стена дома, и Саша, увидев её, понял одну простую вещь: на неё нельзя. На неё нельзя ни спереди, ни сзади, потому что на неё вообще нельзя. Он сделал единственное, что оставалось: привёлся, руль влево, нос в волну — и они пошли на неё, как идут на стену.

«Прилив» подняло — и держало наверху.

Целую секунду. Длинную, как вся жизнь: под килем была не вода, а пустота, а вокруг — небо, всё, во все четыре стороны, и никакого моря, потому что море осталось внизу. Маша кричала. Она потом говорила, что не кричала, но Саша слышал её крик — он слышал его всегда, и этот крик запомнил навсегда: не от страха, а от восторга. Они стояли на гребне шторма, на самой высокой точке всего Чёрного моря, и внизу под ними лежало всё, и не было ничего, что могло бы их достать.

А потом волна кончилась — как кончаются все волны, — и они поехали вниз, и небо снова сузилось до полоски, и море снова окружило их, и всё стало как было.

Только не совсем как было. Потому что теперь они знали: наверху есть место, где никто не хозяин, кроме воды.

К обеду второго дня шторм кончился. Не выдохся, не отпустил — кончился разом, как будто выключили рубильник. Море стало чужим, тёмным, с отпечатком волн на поверхности,

как на постели после сна. Плесень чёрная на бортах, палуба в слизи, носовой тент сорван, грот порван в двух швах, рация молчала. Всё живо.

Саша рассчитал путь и выругался.

— Чего? — спросила Маша.

— Сутки. Мы потеряли сутки. Полные сутки маршрута. — Он посмотрел на карту. — Смотри. По плану у нас были стоянки вдоль берега — вот эти точки. С ними в две недели мы уже не влезаем: шторм съел день, и по плану нам не хватит двух дней. А если прямиком — вот сюда, — он ткнул пальцем в карту, в пролив, — идём без стоянок, берём Босфор и выходим в Средиземное. Там воды спокойнее, и мы вернёмся в график.

— Значит, Босфор, — сказала Маша.

— Значит, Босфор, — согласился Саша. — Вы не возражаете, штурман?

— Я возражаю против наручных часов и за Босфор.

Босфор они прошли к вечеру — и это было как переход между книгами.

Между Европой и Азией. Между Чёрным морем и всеми остальными морями. Пролив узкий, полосой, и по берегам его, на горах, горел вечерний Стамбул — тысячи огней, один выше другого, как звёзды, упавшие с неба и прижившиеся на склоне. По проливу шли суда: танкеры, сухогрузы, паромы — всё живое, электрическое, человеческое, со светом, с рациями, с людьми за штурвалами, которые пьют чай и слушают новости.

Маша стояла у борта и смотрела на огни.

— Слушай, — сказала она. — А ведь вчера я была уверена, что мы умрём.

— Я тоже.

— Нет. Ты был уверен, что мы не умрём. Ты мне это обещал. А я была уверена, что умрём, — и поэтому всё это время просто держалась за поручень и смотрела на тебя. — Она помолчала. — Странно, да? Прошла одна ночь — и снова мир. Снова суда, снова огни, снова «Маша, проверь рацию». А внутри что-то поменялось. Как будто там, за стеной шторма, я оставила ту, прежнюю Машу. Она осталась там, на гребне, между небом и водой. А я — это уже новая.

— Какая новая?

— Тихая, — сказала Маша. — Вот тут, — она приложила ладонь к груди, — тут тихо. Вчера тут шумело. Всю мою жизнь шумело — и вдруг тихо.

Саша не стал спрашивать, что это значит. Он взял её за руку, и они стояли так — у борта, у огней, между двумя континентами, — и не говорили, потому что всё главное уже было сказано: молчание тоже бывает полным.

Рация молчала. Маша то и дело трогала её ладонью — по привычке, как трогают языком больной зуб, — и молчание это теперь не пугало. Оно было как дверь между комнатами, которую закрыли на ночь. Завтра откроют.

А наверху, над огнями Стамбула, стояли звёзды — и Маша вдруг поняла, что шторм кончился не вчера и не сегодня, а только сейчас: тогда, на гребне, когда она кричала от восторга, она ещё не знала, что кричит. А теперь знала.

И тихо, одними губами, сказала в тёмную воду под бортом:

— Спасибо.

Вода ничего не ответила. Вода всегда как будто слушает — но не отвечает.

А Саша у штурвала смотрел на компас. Игла успокоилась. Она стояла ровно, как вкопанная, показывая на юг, — и Саша ещё не знал, что ровно она будет стоять недолго, что через четыре дня, у побережья Северной Африки, она снова начнёт гулять, и тогда они увидят на горизонте остров, которого нет ни на одной карте мира.

Первый шов книги стянулся. Природа показала, кто здесь хозяин, — и попустила.

Пока.

Глава 4. Странность приборов

Три дня в Средиземном море были как длинная шутка, которую рассказывают между делом: солнце, починка рации, споры о том, чья очередь мыть посуду.

Рация ожила на второй день — не вся, а наполовину: прогнозы погоды и маяки Маша слышала, голоса людей — нет. Саша ковырялся в ней сутки, нашёл перегоревший контакт, запаял и объявил её «условно живой». Условно живая рация, условно чистая палуба, условный отпуск: так и жили.

Машу всё это время тянуло на юг.

Она сама это заметила раньше, чем смогла объяснить. Стояла у штурвала, а рука сама подправляла курс — на пару градусов южнее, чем шёл Саша. Он каждый раз возвращал, каждый раз ворчал: «Штурман у нас не ахти, у штурмана руки южные». Она смеялась. Но каждый вечер на скетче её линия горизонта чуть сползала вниз, и море в рисунках становилось темнее к югу, чем было в реальности.

— Сань, а тебе не хочется на юг?

— Хочется спать, есть и чтобы ты перестала рисовать меня с горбатым носом.

— Это не горб, это характер.

— Твой или мой?

— Мой рисунок.

В один прекрасный день компас сошёл с ума.

Маша заметила первой — опять она. Утром она вышла с кофе, посмотрела на компас и не поняла, что видит. Игла показывала на юго-запад. Вчера — на юг. Они шли на юг, по прямой, по всем правилам, — и не могли идти по прямой, если игла гуляла.

— Сань. Вставай.

— Что, шторм?

— Хуже. Компас.

Он вылез, посмотрел — и у него сделалось то лицо, которое Маша видела дважды: на свадьбе, когда отцовский «Прогресс» не завёлся на глазах у всех гостей, и в ту ночь, на гребне волны. Лицо человека, который быстро проверяет, не сон ли это.

— Так. А по солнцу сейчас где юг?

— Вон, — Маша подняла руку.

Саша посмотрел на солнце, потом на иглу. Игла показывала на восемь часов от солнца.

— Dam… — начал он по-английски и осёкся, потому что при Маше ругался только по-русски и только складно. — Ладно. У нас есть GPS. GPS не зависит от компаса. GPS — это спутники, а спутники не врут.

GPS не врал ровно до полудня.

В одиннадцать сорок экран мигнул и на нём вместо координат вспыхнуло короткое, честное, страшное слово: NO FIX.

— Что это? — спросила Маша.

— Это значит, что прибор не видит спутников, — сказал Саша. — Спутников, которые висят над всей планетой. Всех сразу.

— А как такое бывает?

— Бывает три варианта. Первый: прибор сломался. Второй: сломались все спутники планеты. — Он помолчал. — Третий: мы там, где прибор врать должен. Аномалия.

— Аномалия, — повторила Маша. Слово ей понравилось; она попробовала его на вкус, как пробовала когда-то слово «муж». Слова «нгома» она тогда ещё не знала. — Аномалия — это красиво. Это как «нонфикшн», только страшнее.

— Это не «красиво», это «капитан, включай голову».

— А что говорит голова?

— Голова говорит: долой паруса, врубай мотор и идём на север, к алжирскому берегу. Там и связь, и порт, и люди. — Он сказал это твёрдо, как доклад. А потом посмотрел на юг и добавил тише: — Голова говорит одно, а у меня глаза южные. Ты мне их не порти, они и без тебя плохие.

Эту ночь Саша не спал по-настоящему: то выходил на палубу, то смотрел на компас. Игла за ночь описала полный круг и легла на север — ровно, как прибитая. Так и стояла: не дрожала, не гуляла, а именно стояла, как гвоздь в стене.

Саша смотрел на неё и вспоминал почему-то пролог какой-то старой книги — или не книги, а байку отца: про шхуну, про судовой журнал тридцатых, про то, что компас в аномалии не врёт, а останавливается. Он не помнил, где это читал. Или кто ему это говорил. Слова же были: «игла встала, как прибитая».

Он так ничего и не вспомнил — и уснул.

А Маша стояла на корме и смотрела на юг.

И вот что странно: она не боялась. Она стояла над тёмной водой, над закрытой книгой — и ей было хорошо. Не весело — хорошо. Так хорошо бывает в детстве, перед самым переездом, перед первым днём в новой школе: страшно, у тебя мокрые ладони, внутри растёт что-то — и ты понимаешь, что что-то вот-вот случится. Она думала: вот оно. Вот то, про что вечно говорят «нельзя» и «не надо», а потом всю жизнь жалеют. Не зря же люди всю жизнь возвращаются в детство — вопреки всем запретам.

Она нарисовала юг. Просто полосу, море и ничего больше. Потом пририсовала в уголке треугольник — гору. Просто так. Просто рука захотела.

Остров появился в одиннадцать утра. И появление его было неправильным с первой секунды.

Сначала Маша увидела запах. То есть не запах — цвет: над водой, задолго до самого горизонта, стояла узкая полоса марева. Не туман — марево, как над горячим асфальтом, только асфальта нет, а вода холодная. Потом марево рассосалось — и из него, как из-за кулис, выступил берег.

Зелёный берег. До горизонта зелёный, и в центре — гора.

— Сань! — Маша даже не крикнула — просто позвала, и голос у неё был странный, чужой. — Смотри.

Саша вышел, посмотрел. Помолчал.

— Этого не может быть, — сказал он наконец.

— Это мы, Сань. Это мы.

— Не «мы» — «немы», — сказал Саша. — Я хочу сказать: этого не может быть. Я вчера перед сном смотрел карту. Здесь, на бумаге, — открытая вода. Ни банки, ни скалы, ни отмели. Ничего. Голубое поле, больше ничего. А тут — гора.

— А приборы?

— Приборы молчат.

— Значит, приборы неправы, — сказала Маша тихо. И добавила, сама не зная почему: — Приборы всегда правы. Просто не всегда обо всём.

Саша на неё посмотрел. Она — на гору.

Гора была высокая — выше всего, что они видели с моря, если не считать штормовых волн. Она стояла над островом, как хозяин над двором: гора не вырастала из острова — остров был у её подножия, как пёс у ног хозяина. И в этом не было ничего фантастического, и в этом было всё: от склонов вверх поднимался тёплый воздух, и над самой вершиной, на чистом синем небе, стояло маленькое, гордое, идеально круглое облако. Неподвижное. Не рваное. Оно висело над вершиной, как шляпа, которую забыли.

— Облако-шляпа, — сказала Маша. — Это же Чимборасо. Это классика: гора делает свою погоду.

— Мы в Средиземном море. Тут горы не делают свою погоду.

— Тогда эта делает.

Они стояли в кокпите и смотрели на остров, а остров смотрел на них. Так казалось обоим, хотя ни один не сказал этого вслух.

И вот что важно: тишина. Саша, три дня шедший этим курсом, всё время слышал море — море не бывает беззвучно, оно хрустит, шуршит, переговаривается. Так вот, с приближением к острову море замолкало. Не стихало — замолкало, как замолкает человек, когда в комнату входит тот, кого он ждёт.

— Слышишь? — спросила Маша.

— Что?

— Вот. То, что ничего.

Саша прислушался. И правда: ничего. Море вокруг борта было гладким, маслянистым — вода, кстати, была тёплая, слишком тёплая, и оба это заметили. Саша окунул руку за бортом и нахмурился: «Как в ванне. В ноябре. В Средиземном море». И над водой не было ни птицы. Ни одной. Три дня они шли за стаей буревестников — буревестник верный спутник, — а тут ничего, чистое небо.

— Птицы обходят его стороной, — сказал Саша.

— Или не хотят здесь петь, — сказала Маша.

— Это тебе одно и то же.

— Это мне два разных, — она смотрела на берег. — Птицы — они как дети. Где нехорошо, там молчат. Где хорошо, там орут.

— Тогда здесь нехорошо?

— Тогда здесь… — она замолчала, подбирая слово, и нашла его не сразу, — здесь по-другому.

И тут случился самый простой, самый человеческий спор. Спор был короткий, а главное — честный.

— Крутим, — сказал Саша. — Обходим по дуге миль на десять, идём на восток, к Тунису. И всё.

— Крутим? — Маша повернулась к нему. — Сань. Мы ведь шли к этому. Я рукой — вот этой рукой — три дня тянула на юг. Мы нашли остров, которого нет на карте, компас, который встал, как прибитый, воду, которая на шесть градусов теплее нормы. Мы нашли самое интересное место на планете — и ты хочешь кру-у-утить?

— Да.

— Почему?

— Потому что я капитан. — Он сказал это без пафоса, устало, как о плохой погоде. — Потому что у меня на борту жена, рация, которая жива наполовину, GPS, который не видит спутников, мотор, топливо на сто миль, вода на пять суток и ни одного человека в радиусе… — он махнул рукой, — неизвестно чего. Ты хотела списка?

— Нет.

— А вот список, — Саша загибал пальцы. — Ветер. Течение. Рифы. Птиц нет — значит, нечего есть, значит, экосистема кривая, значит, остров нездоров. Вода тёплая, как в бане. Туман, которого не может быть при таком ветре. И гора, над которой висит облако, как охранник. Ты хотела этого списка?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.